



СОТВОРЕНИЕ ДОМА

От предметов ежедневного обихода до диковинных элементов интерьера — в этой книге живо и подробно описана история наших домов.

Mail on Sunday



Джудит Фландерс
Сотворение дома

«Центрполиграф»

2014

УДК 398.324
ББК 63.5

Фландерс Д.

Сотворение дома / Д. Фландерс — «Центрполиграф», 2014

Джудит Фландерс, историк и автор бестселлеров о викторианских постройках и викторианском городе, размышляет о том, какие изменения за последние 500 лет претерпел дом и само понятие о нем. На примере Европы и Америки автор прослеживает, как, постепенно совершенствуя свое жилище, человек обрастал все новыми и новыми предметами и наконец пришел к тому дому, в котором с теми или иными особенностями живут наши современники. По «пути следования» от XVI к XXI веку Фландерс живо и увлекательно рассказывает о том, когда и как появились первые столы, стулья и туалеты, где изначально «жили» кровати и почему люди ввели в обиход шторы и скатерти, а также о многих других бытовых предметах. Особое внимание автор уделяет тому, как заключались браки и строились семейные отношения, как растили детей и во что их одевали. Ну а главная мысль автора заключается в том, что дом — это совершенно особое, отдельное место, где мы принадлежим только самим себе и можем быть только собой.

УДК 398.324

ББК 63.5

© Фландерс Д., 2014
© Центрполиграф, 2014

Содержание

Введение	6
Часть первая	16
Глава 1	16
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Джудит Фландерс

Сотворение дома

Copyright © Judith Flanders, 2014

© Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

* * *

*Для Наоми и Евангелины Антонакос, а также памяти Стефена
Антонакоса (1926–2013)*

*Дом – это место, где не могут не принять, уж если ты пришел.
Я бы назвал это тем, что по какой-то причине не нужно
заслуживать.
Роберт Фрост. Смерть слуги*



Введение

Размышления о доме

В 1900 году маленькую девочку в незнакомой стране один из жителей спросил, не хочется ли ей остаться в этой «прекрасной стране», вместо того чтобы всей душой стремиться в тот «засушливый и серый» мир, откуда она пришла. Девочка удивилась, услышав эти слова. «Нет места лучше дома» (There is no place like home) – вот как она ответила на вопрос. Конечно, этой девочкой была Дороти в стране Оз, и только одному из персонажей книги могло прийти в голову задать подобный вопрос – Страшиле. Но ведь в его голове наблюдался недостаток мозгов. Как можно задавать вопрос, ответ на который столь очевиден? В конце XIX века создателю книги Лаймену Фрэнку Бауму мысль о том, что дом может и не быть прекрасным или роскошным, и все же это то место, где нам хочется находиться, казалась банальной и очевидной.

Двумя веками раньше, в 1719 году, другой роман, который мы сейчас знаем под названием «Робинзон Крузо», впервые увидел свет. Полное название этой книги Даниэля Дефо состояло не только из имени главного героя. Нет, название соблазняло и манило читателя обещаниями необычных приключений, экзотическим местом действия, постоянной борьбой за выживание и многими другими событиями: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами: описанные им самим».

Книга имела ошеломляющий успех, за первые восемь месяцев ее переиздали тридцать семь раз. В следующем веке роман был переведен, инсценирован и переписан для детей. У него появились продолжения; были созданы даже кукольные представления. Если собрать все вместе, то окажется, что существует около семисот различного рода пересказов этой знаменитой истории практически для всех типов публики.

Роман Дефо – это нечто большее, чем очередная бесшабашная выдумка на тему кораблекрушений и пиратов. Произведение по праву заняло видное место в литературном пантеоне, и не только благодаря прекрасному языку, которым было написано. Это первый роман на английском языке, и один из первых на европейских языках, в котором правдиво описана реальная ситуация. Впервые автор обратился к деталям обыденной жизни, придав им столь захватывающий характер, что описание не уступало картине ужасного морского кораблекрушения и открытию новой, неведомой земли. В самом заглавии романа автор представляет читателю Робинзона не просто в качестве некоего матроса. Это – Робинзон Крузо из Йорка – человек, у которого есть дом, место принадлежности. Сразу после сцены жестокого кораблекрушения следует рассказ о том, каким образом в безвыходной для героя ситуации он решает проблемы повседневной жизни. Робинзону приходится подумать над тем, как обеспечить себя одеждой, столовыми приборами, даже бритвой и принадлежностями для письма.

Тщательно описана пещера Робинзона на острове: то, как он готовит пищу, как ест, на чем спит, где хранит припасы. Так автор приближает нас к мысли о том, что человек в любых условиях воссоздает свой дом, стараясь придать ему лучшие качества. Этот дом должен быть достаточно велик для того, чтобы под одной крышей соединять два отдельных пространства для сна и для повседневной деятельности. Затем, для того чтобы «наслаждаться теми же удобствами, что и в покинутом мире», бедный Робинзон мастерит для себя мебель, множество полок, которые помогают содержать в порядке его имущество, определяя для «каждой вещи свое место».

После нескольких лет, прожитых на острове, Робинзон становится свидетелем еще одного кораблекрушения. Среди вещей с погибшего корабля он с волнением ищет не чудом сохранившееся оружие (Робинзон даже не позаботился захватить мушкеты, на которые натолкнулся) или морские приборы, которые помогут покинуть остров. Он разыскивает чайник и котелок для «приготовления шоколада», совок и щипцы для углей, о которых «мечтал особенно сильно». Там же находится последний недостающий штрих для воссоздания утраченного очага – среди обломков корабля Робинзон находит оголодавшую собаку.

Очевидно, что роман повествует не только об «удивительных приключениях», но о человеке, который жил без родного дома на протяжении двадцати восьми лет. Тем не менее в его памяти всегда сохранялось представление о том, каким должен быть «дом». Снова и снова Робинзон Крузо говорит о нем. В первой главе больше десяти раз употребляет слово «дом», поскольку так моряк относится к своей «маленькой палатке». На протяжении всего романа слово «дом» повторяется более шестидесяти раз, подобно ритму бьющегося сердца.

В соответствии с Оксфордским словарем английского языка слово «дом» означает «жилое помещение; чей-либо дом (сооружение) или жилище; постоянное место жительства семьи; ведение домашнего хозяйства; место обыденной жизни и интересов». Дом – это сооружение, постройка, физическое тело. Однако домашний очаг – «место, где кто-либо живет или вырос, в отношении которого присутствует ощущение принадлежности; место, отождествляемое с понятием удобства и защищенности, чувствами, которые с этим связаны». Это способ утверждения своего происхождения и принадлежности.

Считается, что слово «дом» (home) имеет индоевропейский корень *kei*, означающий «ложиться», «кровать», «кушетка»; другой вариант – «дорогой», «близкий», что объединяет сразу оба понятия – и место, и отношение. А вот слово «дом» в значении «здание» (*англ.* house) не имеет корней в индоевропейских языках и обозначает строение, служащее кровом для людей. Уже в XIII веке существовало четкое различие этих двух понятий – в одной поэме 1275 года говорится о «земле, доме и очаге».

Для тех, кто говорит на английском, германских и скандинавских, финно-угорских языках Северной Европы – от Венгрии и немецкоговорящих стран до Финляндии и Скандинавии, Нидерландов, затем через Ла-Манш на Британские острова, – эта разница очевидна. Два понятия – два слова: дом как очаг (home) – *otthon, koti, kodu, heim, heem, hem, hjem, heim*, или же дом как здание (house) – *ház, talo, maja, haus, huis, hus*. Северо-западный ареал может по праву считаться «домашним», ведь в романских и славянских языках такие смысловые различия не отражаются. Испанское и итальянское *casa* пришло из латинского языка – небольшой дом, шалаш; французское *maison* также имеет латинский корень – *mansio* – стоянка, жилище. Так же как и в латыни, оба слова обозначают здание и имеют персонализирующий характер: например, тот, кто из *une grande maison*, принадлежит к знатному роду. (В английском такие лексические структуры используются только в мифологии или для указания на знатность рода – дом Атрея, дом Виндзоров.) Когда итальянец собирается домой, он *sta andando a casa* – идет в свой дом-здание. Француз же *rentre chez lui/elle* – идет «к себе» или даже чаще *rentre à son foyer* – возвращается к своему «очагу». Славянские языки объединяют данные понятия: русские и поляки живут *в доме* и возвращаются *домой* или *до дому*, то есть буквально «движутся по направлению к дому». Еще в XIX веке в России *дом* ассоциировался с *семьей* и даже с *тяглом* – системой денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей. Чисто лингвистически *дом* отождествлялся с теми, кто в нем жил, а также с мерой повинности, которую необходимо было нести, чтобы содержать семью. «Дом» обозначал не только людей, объединенных родственными и экономическими связями, но и постройку (жилые или подсобные) и кормящую их землю.

«Домашние» и «недомашние» языки могут многое рассказать об обществе в целом и его развитии. Есть общества, в которых поселение, город, деревня или село являются холстом, на

котором написана красочная картина – жизнь, а отдельно взятые дома лишь формируют свои, более узкие частные пространства внутри ее. Но существуют и такие социумы, где дом является объектом пристального внимания, а город, деревня или село – только ежедневный маршрут, ведущий к притягательной и важной уединенности домашнего пространства. Зачастую такие различия объясняются особенностями погодных условий – понятное дело, что провести осенний полдень на рыночной площади средиземноморского городка гораздо приятнее, чем оказаться в это же время на улице, скажем, Осло. Но климат – это лишь один из множества факторов, разделяющих «домашние» и «недомашние» страны.

Попросите любого ребенка, живущего в Европе или Северной Америке, нарисовать дом и, скорее всего, увидите на листе бумаги обособленное здание со следующими элементами: треугольная крыша, щедрая порция густого дыма, валящего из трубы, главная входная дверь в центре фронтальной стены и тропинка через весь сад, окруженный забором. Я выросла в совсем не похожем доме, но тем не менее я нарисовала с дюжину домов, подходящих под это описание, когда сама была ребенком. И большинство детей тоже росли не в таких домах. Но как бы то ни было, платонический идеал дома остается таковым на протяжении века, а может быть, и дольше – можно сказать, что это архетип «жилища».

Взрослые обычно показывают более замысловатое представление о том, как должен выглядеть тот дом, в котором мы опознаем архетип жилья. Однако изображение оказывается в той же степени фантазийным, как у детей. По большей части мы теряемся, когда нам нужно представить образ в отрыве от реальности. Инстинктивно каждый чувствует, что «дом» – это конкретная вещь, которая продолжает всегда сохранять основные черты на протяжении времени.

Такое понимание основано на тех сведениях, которые мы получаем из книг, и тех образах, которые используют дизайнеры в качестве базовых основ проектирования жилых пространств. Мы где-то уже видели такие дома. Возможно, подобные образы были воссозданы в фильмах и телепередачах, которые мы смотрели, затем снова воплощены в жизнь, пройдя через фильтр общественного сознания.

Главными компонентами в этом арсенале стало общее представление о доме, которое пришло из голландской живописи XVII века. Картины Вермеера и де Хоха, Метсю, Маса, Терборха или де Витте написаны в интерьерах типичных буржуазных домов Нидерландов того времени.

Трудно найти более «домашние» изображения, чем эти. Картина «Интерьер с женщиной у клавесина» Эммануэля де Витте (1665), по всей видимости, создана для того, чтобы раскрыть красоту типичного голландского дома представителей среднего класса. Путешественники XVII века, оказавшись в Нидерландах, удивлялись элегантности домов людей даже самого «неважного качества» – то есть низших слоев общества. Они восхищались «дорогой и замысловатой» мебелью, фарфором, живописью и другими предметами декора. Однако эти записи не стали широко известными, они остались в тени живописных полотен, всемирно прославивших голландские интерьеры уже в XIX веке. Но как же мало общего эти картины имели с той обстановкой, которую сами голландцы того времени могли бы посчитать типичной для своих домов!

Современные исследователи проанализировали тысячи списков предметов частного пользования и быта того времени, изучили особенности продажи и обмена товаров. Так им удалось восстановить детальную картину того, чем в действительности могли владеть типичные представители среднего и высшего классов голландского общества. Из документов следует: те интерьеры, которые нам так хорошо известны по живописным работам, никогда не существовали. Достаточно просто в качестве примера рассказать об «Интерьере...» де Витте и выяснить, что было на самом деле, а чего не было.

Голландец того времени опознал бы кровать с пологом, стоящую в приемной, зеркало и картину на стене и, пожалуй, довольно объемистую женскую фигуру, вероятно облаченную

в многослойную одежду, спасающую от холода. Вот и все. Остальные детали картины, как и сотен других картин этого периода, являются плодом фантазии художника.

Балки под потолком – типичная принадлежность голландской архитектуры, однако они направлены неверно – не параллельно фасаду, как того требуют инженерные законы, а параллельно картинной плоскости, как бы обрамляя пространство для зрителя. Расположение комнат, следующих друг за другом, образуя анфиладу, и окна по обеим сторонам, видимые зрителю справа и обозначенные тенью слева, – архитектурная утопия, граничащая с выдумкой, особенно в стране террасированных домов. Подобные отклонения от действительности объясняются всего лишь стремлением художника создать композиционно уравновешенную картину.

Можно назвать еще некоторые элементы, знакомые нам по голландским картинам, изображающим интерьеры, – по ним мы привыкли судить о стиле убранства помещений. Начнем с хорошо известных живописных полотен, на которых изображены черно-белые мраморные полы, часто встречавшиеся в Нидерландах. В основном такие полы можно было увидеть в общественных местах, в том числе в судебных и административных зданиях. Однако их нельзя считать характерными для частных домов. Только в девяти из 5000 домов, проданных с 1750 по 1811 год (почти все солидных размеров, с роскошной отделкой), был мраморный пол в приемной. Даже в домах богатей, как правило, настилали деревянные полы. Лишь так называемая *vooghuis*, приемная комната на первом этаже, могла иметь мраморный пол. Его оснащали деревянными подставками, *zoldertjes*, на которых стояли стулья. На картине де Витте нет таких подставок, хорошо видных на картине Габриеля Метсю «Женщина, читающая письмо»; не найти на картинах де Витте и подстилок из бычьей кожи, столь типичных для интерьеров того периода. А вот на картинах Яна Стена они все же есть. Однако еще более характерные коврики с перекрестным узором, очень распространенные в то время, вы не увидите ни на одном полотне.

Как и де Витте, остальные художники в основном концентрировали внимание и демонстрировали свои навыки на турецких коврах, которые в реальности даже не упоминаются в инвентарных списках той поры. На самом деле восточные ковры тогда считались дорогой редкостью. Со времен итальянского Возрождения их использовали только для того, чтобы выставить с целью демонстрации благосостояния, расстелив на столе, а не под ногами. Лишь спустя двадцать лет после того, как де Витте случайно расположил такой турецкий ковер на полу своего «Интерьера...», появилось первое упоминание о подобном предмете в описи домашнего скарба, причем не кого-нибудь, а богатейшего человека Амстердама. А в Лейдене ни в одном доме, даже в самом престижном квартале города, не было никаких ковров, даже настольных – первый из них появился через тридцать лет после создания картины де Витте; первый напольный ковер был привезен в Лейден еще десять лет спустя. Ковры для стола также считались редкостью: при инвентаризации их обнаружили только в четверти лучших домов Гааги, в нескольких домах Делфта и в половине домов Лейдена.

Следует признать, что увиденное на картинах – не более чем художественные реквизиты. У Вермеера такой ковер встречается трижды – видимо, его собственный, который без стеснения использован в каждой из картин.

Как правило, и мраморные полы, и медные люстры, нередко встречающиеся в голландской жанровой живописи, можно было найти в общественных зданиях, например в судах или, особенно часто, в церквях, но никак не в частных домах. На протяжении века списки инвентаризации показывают наличие больших медных светильников в Лейдене – всего пять, в Гааге один и ни одного в Амстердаме.

Большинство домов не располагало ни клавесином, как это изображено на картине де Витте, ни верджинелом, ни спинетом – в Делфтском инвентарном списке был зафиксирован лишь один. Как бы ни пытались живописцы убедить нас в том, что вся эта роскошь типична для

голландских интерьеров, это не так. Список можно пополнить множеством других объектов, которые принято считать обыденными предметами домашнего обихода.

В то же время на картинах нечасто можно видеть подсвечники или лампы, камины или печи – стандартные осветительные и отопительные устройства. Интересно, что реально существовавшие предметы роскоши и декоративные элементы встречаются в живописных произведениях крайне редко, хотя они в большом количестве присутствуют в инвентарных перечнях того времени. Во многих домах имелся и фарфор (особенно китайский), и фаянс, и всевозможные узорчатые ткани, которыми покрывали столы, стулья, стены или навешивали их над кроватью, но реже на окна.

Остались незамеченными картины, о которых неоднократно упоминают путешественники: «В основном все стараются как-то украшать свои дома шикарными, изящными вещами, особенно гостиную. Мясики и пекари тоже не отстают в своих лавках... да и кузнецы, и сапожники, и прочие не преминут повесить у себя картину-другую...» В период с 1580 по 1800 год в Голландии насчитывалось несколько тысяч художников, которые, по примерным расчетам, создали около 10 миллионов картин. Принимая во внимание, что население страны на 1700 год составляло менее 2 миллионов человек, учитывая масштабы рынка сбыта того времени, можно предположить, что стены домов были сплошь увешаны живописными полотнами. Вероятно, кукольные домики XVII столетия больше отражают действительность, чем картины этого времени (подобных домиков сохранилось всего три, поэтому, насколько они типичны, трудно судить).

Также на картинах не представлено широкое разнообразие мебели. Документы подтверждают, что шкаф был гордостью и предметом любования каждой зажиточной голландской домохозяйки, хранилищем богатства (измерявшегося постельным бельем и льняным полотном), а кроме того, отличной витриной для демонстрации фарфора и серебра.

Комната на картине де Витте, напротив, обставлена вполне скромно – кровать, клавесин, три стула и маленький стол. В действительности, согласно описям, в ней бы разместились как минимум два стола, полдюжины стульев и несколько сундуков. Тут же обычно находились рабочие инструменты для мужской работы, инструменты, которыми пользовались женщины: например, прялка и другие обычные бытовые предметы – оловянная посуда, пивные кружки, горшки и сковородки.

Художники XVII века и их заказчики, разумеется, понимали, что картины не отражают реальность. Вероятно, такие объекты, как мраморные полы и бронзовые светильники, которые украшали только общественные здания, должны были поднять статус частного дома, придать ему более богатый вид независимо от того, каким он был в реальности. Другие бытовые детали – обилие картин и мебели – напротив, оказались исключены из сюжета, это объясняется тем, что композиции требовалось придать наибольшую зрительную ясность. Однако подобное искажение было выявлено только в XIX веке, после повторного открытия жанровой живописи. И сразу все многочисленные символические выдумки, связанные с ней, потеряли смысл. В картинах, изображающих детей, кормящих кошек и собак, уже не видели очаровательных спенков с домашними питомцами. Стало понятно, что на самом деле такие сюжеты предостерегали от небрежности и расточительства. Кроме того, кошки – символ невежества, а если их изображали рядом с девушками или женщинами, то это следовало понимать как образ любви и сладострастия. Плетение кружева, безусловно, достойное занятие для благочестивой домохозяйки, но только слово *paaien* (шитье) было (и остается) сленгом для обозначения сексуальных отношений. Так кружево символизирует любовные сети для неосмотрительных мужчин.

На картине Вермеера «Концерт» изображен мужчина между двух дам, одна из которых играет на клавесине, а другая поет. На наш, современный, взгляд – достойное светское мероприятие. Однако в руке мужчины держит лютню – символ эротической любви, как, впрочем, и другие музыкальные инструменты. Картины, которые развешивали по стенам, становились

отражением тех сцен, которые ежедневно происходили на их фоне. В этом смысле «Сводня» Вермеера, а затем Дирка ван Бабюрена, художника старшего поколения из Утрехта, имеет в виду любовные отношения, основанные на деньгах.

Иногда библейские сюжеты используют для морализации на тему сюжета; кораблекрушения и прочие бедствия носят предупредительный характер; зеркала символизируют тщеславие; карты – мирские искушения. Персонажи, находящиеся в комнате, также вполне могут нести символическую нагрузку. Одним из символов является женщина с метлой, олицетворяющая голландских повстанцев, свергших испанское господство и прогнавших ненавистного притеснителя (нидерландская революция, 1568–1648). Дети должны были символизировать рождение новой республики, но резвящаяся детвора олицетворяет глупость человеческого рода. Шумные таверны Яна Стена, заполненные пьяницами, распутниками, падшими женщинами, с разбросанными черепками битой посуды, имеют более глубокий подтекст, чем всего лишь достоверное изображение разгула в таверне. Прежде всего сюжет рассказывает о суетности человеческого бытия. Натюрморты, изображающие богато накрытые столы, фарфор, олово и серебро, демонстрировали, с одной стороны, достаток своих хозяев (или стремление к нему), с другой стороны, даже если картина была настолько точна, что можно было разглядеть фабричное клеймо на китайском фарфоре, главным посланием художника оставалась идея о бренности всего земного. Еда портится, фарфор бьется, и только Божественная истина – вечна.

Служанки, которые подметают пол, как на картинах де Витте (на заднем плане, в задней комнате), точно такой же плод творческого воображения, как и черно-белые мраморные полы. Менее 20 процентов домов Голландии держали прислугу. Вряд ли в хозяйстве средней руки, как на картине де Витте, могла быть прислуга. Хоть английские путешественники и удивлялись, «как чисто и прибрано у них... и дома, и на улице», эту чистоту надо понимать как весьма относительную. В голландских домах не было проточной воды, не существовало и общественных бань. Возможно, комнаты можно было отнести к разряду чистых, но по отношению к их обитателям это определение вряд ли подходит. В некоторых голландских альманахах сохранились записи о том, что если принимать ежегодную ванну весной, то это убьет в волосах уважаемых читателей всех личинок еще до того, как они разовьются. Когда в Англию в 1655 году пришла эпидемия (как раз в год создания картины де Витте), то за предыдущие двенадцать месяцев она уже успела унести жизнь каждого восьмого жителя Амстердама.

Из этой информации можно сделать вывод, что на картине де Витте изображена не домашняя безмятежность, а эротический бунт. Дневной свет указывает на то, что мужчина, выглядывающий из-за полога кровати, вовсе не муж той женщины, что сидит за клавирами. Музыкальный инструмент намекает на это, так же как и одежда мужчины, сорванная впопыхах и брошенная на стул, а не повешенная в шкаф. Служанка на заднем плане является нравоучительным контрапунктом – своей метлой она выметает грех из дома, а ведро с чистой водой дожидается своей очереди в символически ярком солнечном свете.

Однако на протяжении последних полутора веков символизм этих живописных работ оставался незамеченным. Напротив, мы воспринимали изображение как кальку, снятую с реальной жизни, нечто подобное фотографическому отображению действительности. Тем не менее все, кто писал эти картины, кто их покупал, кто вывешивал на своих стенах, знали об этом несоответствии. Но они и не ожидали буквального сходства. Никого не заботило, что на картине изображены вещи, которых в хозяйстве на самом деле нет. Никому не казалось странным, что на картине не нашлось места для реально существующих кастрюль и сковородок, кожаных подстилок. А сегодня эти утерянные искусством элементы домашнего хозяйства можно считать примерами того, что я называю «невидимая мебель».

Лекция о живописи нужна в качестве музейной реконструкции жизни того времени. Идею нашего современного дома мы построили на изображениях, которые изначально создавались с другой целью. То, что мы ценим в этих изображениях, раньше не имело никакого зна-

чения, и наоборот, все, что в них по-настоящему типично и характерно, остается незаметным для нашего взгляда. У художника не было нужды писать картину ради горшков, сковородок или сундуков – все и так знали, как они выглядят. Зачем, если эти предметы каждодневно присутствуют в обыденной жизни? Этот же вопрос можно задать не только в отношении живописи.

Но вернемся к теме «невидимой мебели» – той, что можно найти в любой стране в любое время. В XVII веке чиновник военно-морского ведомства и автор дневников Сэмюэл Пипс часто заканчивал свои ежедневные очерки словами: «А теперь – в кровать». Эта фраза повторяется в его дневниках минимум раз в неделю на протяжении девяти с половиной лет. В XX веке столь емкая фраза получила известность и стала восприниматься как соль анекдота. Дело дошло до того, что ее использовали в качестве названия для сети магазинов по продаже готовых кроватей. Вот только гораздо меньшую известность приобрело окончание фразы, вписанное 21 ноября 1662 года: «Вечером поужинать – и в кровать: сегодня я сначала приготовил плевательную простыню, мне это кажется весьма удобным». Дальше Пипс не дает никаких объяснений, и большинство изданий тоже обходят этот пассаж стороной или демонстрируют непонимание – один из редакторов даже поставил знак «?». Я лично полагаю, что здесь имеется в виду кусок ткани, приколотый позади плевательницы для защиты дорогих настенных драпировок на тот случай, если сплевывающий промахнется.

«Плевательная простыня» и плевательница, или, как я их называю, «невидимая мебель», были неотъемлемыми предметами быта многих, если не всех, домов. Однако именно этот предмет по непонятной причине нигде не упоминается. Коврики из бычьей кожи, не изображенные на картинах, тоже своего рода «невидимая мебель». Эти предметы не вошли в историю.

Понятие «невидимой мебели» не ограничивается неким историческим периодом. Сегоднешние журнальные фотографии современных домов весьма поверхностно отражают их суть, тот быт, которым мы живем. Игнорируя недостатки и изъяны, пятна, царапины и прочие следы повседневной жизни, такие фотографии являются глянцевым вариантом действительности. А где же зубные щетки? И розетки, ошетилившиеся электрическими проводами? Куда подевались детские пластиковые игрушки или ситечки в ванной, задерживающие волосы? А щетка для унитаза? Если оставить только то, что показано на журнальных фотографиях, то следующие поколения вряд ли смогут представить себе, что большинство людей XXI века имели привычку чистить зубы. Мы ведь тоже не представляли того, что раньше считалось нормой регулярно сплевывать.

Нынче любой любитель, то есть непрофессионал, имеет возможность сделать какие угодно фотографии, которые, в свою очередь, могут повлиять на нашу точку зрения о том, как должны выглядеть вещи. «Невидимая мебель» дожидалась своего часа в XX веке, пока фотоаппараты прочно входили в общее пользование. Теперь, в XXI веке, ту же роль выполняют снимки, сделанные камерой телефона, а затем выложенные в Фейсбуке.

Но в XIX веке изображения предметов быта оказывались если и не редкими, то довольно дорогими. Гравюры, рекламировавшие новейшие мебельные тренды, стоили от 1 до 3 пенсов, тогда как среднестатистический работник получал от 80 до 150 фунтов в год. То есть картинка с изображением стула стоила около 1 процента от средней зарплаты – сравнимо с тем, как если бы человек с нынешним средним заработком в 26 тысяч фунтов платил бы 5 фунтов за фотографию. Профессиональные фотографы нашего времени в этом смысле подобны авторам романов прошлого или произведений голландского искусства золотого века: их целью не является точное воспроизведение повседневности, в которой существуют реальные люди. Телепередачи или фильмы создают для зрителя образы, воспринимающиеся как «реальные», но не являющиеся таковыми. Думаю, что историк, который попытается описать наш быт лет через двести только на основании фильмов и телепередач, не сможет представить, например, сколько времени мы проводим перед телевизором. Ни в одном, даже суперправдивом, детективе вы не

увидите безумно уставшего сыщика, упавшего после работы на свой диван и молча провалившегося на нем перед одноглазым другом весь остаток вечера. Нет, в кино они так не делают – это не соответствует законам жанра. То же можно сказать о фотографиях причудливых домов знаменитостей, где взгляд фотографа не остановится, скажем, на переполненной корзине для бумаг. О нет, что вы! Образы создаются вовсе не для того. Однако все кажется очевидным лишь на примере обсуждения современного материала. Прошлое – это другая реальность, которую из-за недостатка информации не так-то легко восстановить. Возможно, потому, что мы опираемся на подобные источники.

Итак, говоря о прошлом, в поисках незамеченного мы должны обратиться к другим источникам. Но их бывает непросто отыскать. К примеру, изобразительное искусство не слишком многословно в этом отношении. Есть множество профессиональных и любительских рисунков XIX века, изображающих гостиные, мастерские и кабинеты. Ни на одном (подчеркиваю – *ни на одном*) из них не найти плевательницы, хотя инвентарные списки тех времен подтверждают обыденность этого предмета.

Дневники и письма более подробны и содержательны. Пипс, обладая необычайной наблюдательностью, одним из первых описал плевание как привычку, причем удивительно пространственную. В наши дни известно, что такое пристрастие было связано с жеванием табака, и в большинстве заметок Пипса об этом также можно найти упоминание. Однажды, посетив театр, Пипс записал: «Одна дама сплюнула назад и нечаянно попала в меня. Но, увидев, насколько она хороша собой, я не стал расстраиваться из-за такого недоразумения». Поскольку женщины не жевали табак, значит, это было не что иное, как обыкновенная мокрота. Судя по невозмутимости Пипса, все было так же обыденно, как сплевывание табака. Несколько лет спустя один француз, проживавший в Лейдене, сообщал своим соотечественникам, что никто в Нидерландах «не осмелился бы сплюнуть в помещении... Это доставило бы флегматичным персонам определенный дискомфорт». То есть во Франции необходимость прочистить глотку воспринималась как обычное дело и в помещении, и за его пределами.

В немецких периодических изданиях XVIII века иногда встречаются редкие упоминания о плевательнице как «предмете для облегчения», предмете, делающем элегантную жизнь тогдашнего потребителя комфортнее, подобном резервуарам для охлаждения вина, часам, грелкам для ног и дорожным подушкам, складным письменным столикам или столикам для бритья со встроенным зеркалом.

В XIX веке встречаются упоминания о плевательницах, но все более редкие. Одна американка так описывала действия своего не по годам развитого малыша, подражавшего взрослым: «...он причмокивал и сплевывал в коробочку и... вытворял еще много чего забавного».

В XX столетии, когда уже сформировалось четкое представление о путях распространения заболеваний, эта привычка стала казаться одновременно и малопривлекательной, и откровенно опасной. Тогда же плевательницы приобрели новое значение в литературе и мемуарах, они стали символом прошлой примитивной жизни.

Но между тем история подобной «невидимой мебели» продолжалась. В железнодорожном санитарном кодексе Соединенных Штатов 1920 года не одна страница была посвящена регламентации мест, специально отведенных для плевания. А реклама плевательниц встречалась даже в 1940-х годах, когда, согласно печатным изданиям, еще тремя-четырьмя десятилетиями ранее они, казалось, совершенно ушли из жизни людей.

Хозяйка дома: «Итак, девочки! Наполним бокалы! Я предлагаю тост, который вы все воспримете с удовольствием. За джентльменов!»

Созданная в 1853 году карикатура Джона Лича для журнала «Панч» изображает мир, где женщины и мужчины поменялись ролями. Молодые люди удаляются в гостиную после обеда,

оставляя женщин выпить, покурить и поговорить об охоте на фазана. Комната в полном беспорядке: съехавшая набок скатерть, разбросанные стулья. Женщины, вместо того чтобы степенно сидеть за столом, уподобляются мужчинам и составляют стулья парами друг напротив друга; одна из дам кладет ноги на стул. В романах часто встречаются описания подобного, чисто мужского, стиля послеобеденного времяпрепровождения, где особое внимание уделяется беседе, иногда описываются манеры персонажей. Но те отрывки, в которых речь идет о подобном использовании мебели, можно пересчитать по пальцам. Однако, за отсутствием других материалов, мы будем считать эти редкие строки иллюстрацией типично мужского поведения в обществе того времени, причем в разных его слоях. Заметьте, это исключительный случай, когда мы делаем допущение, основываясь на таких слабых доказательствах.

Сегодня, чтобы усесться поудобнее, мы без стеснения устраиваем ноги повыше.

Будучи не слишком осведомленными о прошлом, не имея достаточного количества литературы, находясь под влиянием телевизионных мелодрам и фильмов, мы не слишком задумываемся о собственных привычках.

К тому же следует отметить, что наши представления о мебели и комфорте прошлого ошибочны. В 30-х годах XIX века появились стулья с низкими сиденьями и подлокотниками, специально спроектированные для пышных юбок и не очень длинных женских ног. Тем не менее в 60-х годах того же века мода на кринолины обязывала дам сидеть на самом краешке стула; в 80-х годах турнюры, вечно упирившиеся в спинку стула, почти лишили женщин возможности присесть; ну а в 90-х, когда корсеты удлинились, сидеть комфортно стало просто невыносимо. Удобство оказалось прерогативой мужчин, что, собственно, и высмеивает Джон Лич в своей карикатуре.

Порою выяснить, как жили люди, оказывается гораздо сложнее, чем узнать, что их окружало. Наше представление о доме и быте часто не соответствует тому, какими они были на самом деле. Есть реальность, есть восприятие современников, верное или нет; есть записи, дошедшие до нас; и есть интерпретация и искажение временем всей этой информации. Каждый из перечисленных факторов непостоянен и неоднозначен.

Например, типичное представление о домашнем устройстве состоит в том, что помещения дома должны разделяться по половому и возрастному признаку, а также по классовой принадлежности обитателей. Начиная с XVIII столетия спальные помещения в наиболее зажиточных домах отводились отдельно для родителей и детей; девочки отделялись от мальчиков; слуги больше не спали в одной комнате и тем более в одной кровати со своими хозяевами – их помещали в комнатах, расположенных на чердаке или цокольном этаже дома.

И все же два судебных дела в Лондоне свидетельствуют о том, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. В 1710 году в одном доме существовало настолько строгое разграничение во всем, что касалось слуг и хозяев, что дело доходило до пользования разными лестницами. В том же десятилетии племянница какого-то другого домовладельца делила спальню на чердаке со своей служанкой, а титулованный жилец спал в одной комнате со своим лакеем. Это пример двух домов, одинаковых по социальному и финансовому статусу, практически совпадающего временного периода. В одном хозяева и прислуга тесно сосуществуют в домашнем пространстве, в другом – практически полностью разделены.

Все, о чем мы можем прочесть в литературных произведениях, в руководствах или в архитектурных трактатах, не обязательно существовало в каждом доме. Получается, наши привычные представления уже настолько прижились, будь то образы быта, навеянные голландской живописью, или, напротив, случаи полной амнезии, как с плевательницей, что мы вовсе не готовы с ними расстаться. Они кажутся нам истинами, которые невозможно подвергнуть сомнению.

Книга «Сотворение дома» задумана как та самая карикатура из «Панча» – для того чтобы проявить невидимые узоры бытия. Словом, книга не о стуле как предмете, а о том, как на нем

сидели; не о том, что пропагандировали журналы, а о том, как люди воспринимали моду. Не о том, как украшали дома, а о том, как определенный декор отражал привычки людей, которые жили в этих домах. И как эти привычки, в свою очередь, соотносились со взглядами обитателей и взглядами общества в целом.

То, из чего состоит наш дом как среда обитания, полностью отличается от того, что необходимо для возведения дома как здания. Представление о быте и его истории основано на немногочисленных исследованиях. Есть книги по архитектуре, по декору интерьера, по домашнему хозяйству, по социальной и экономической истории. В них обычно дом не рассматривают как нечто особенное. Скорее всего, это происходит из-за окутывающей его невероятно густой паутины культурных наслоений. Проще принять все на веру.

В первой части – «Идеи дома» – мне бы хотелось обозначить некоторые политические, религиозные, экономические и социальные изменения, создававшие условия, при которых «дом» вырос, расцвел и превратился в то, что мы подразумеваем под этим словом в Северо-Западной Европе, а затем и в США.

Во второй части – «Технология дома» – я расскажу, как инновации и технологии повлияли на теперешний образ «дома». Многие перемены произошли в ранние годы современного периода.

В книге «Сотворение дома» я коснусь причин, процесса возникновения и утверждения новых идей, получивших свое развитие в XVIII и XIX веках. Речь пойдет о процессе, который в большинстве своем закончился лишь в первых десятилетиях XX века, когда модернизм – движение, недаром окрещенное «внедомашним», – обозначил идеи радикально иного направления.

Нет ничего проще, чем отнестись предвзято к людям, основываясь на знаниях об окружающей их среде. К примеру, поэт Эдмунд Спенсер в 1596 году написал, что Ирландия – это «дикая безбрежная пустыня». Жители Ирландии, как считал этот попавший в чуждые ему условия жизни англичанин, «даже не думают обзавестись горшком, сковородой, чайником, матрасом или мягкой кроватью – никакими бытовыми удобствами. Поэтому неудивительно, что они не обладают манерами, честностью, что они невежественны и грубы». Таким образом, тех, у кого в конце XVI века не было ни кухонной утвари, ни постельных принадлежностей, ни других бытовых предметов, можно считать неотесанными и грубыми.

В 1865 году, спустя три столетия после того, как Спенсер сделал свои записи, проводилось дознание по поводу мужчины, который умер от голода, не желая отправляться в рабочий дом. Как сообщила его вдова, муж не смог смириться с мыслью о том, что лишится «удобств нашего маленького дома». Следственная комиссия попросила ее уточнить показания, поскольку не увидела ничего, кроме пустой комнаты с кучей сена в углу. Далее говорится, что «вдова заплакала и сказала, что у них еще имеется лоскутное одеяло и прочие мелочи». Столетия разделяют эти домашние хозяйства, лишенные «горшка, сковороды, чайника, матраса или мягкой кровати», однако нет никакой причины сомневаться в том, что ирландцы XVI века заботились о своих «мелочах» не меньше, чем вдова Викторианской эпохи.

Слово «дом» по-прежнему остается наполненным все тем же смыслом, а его обитатели питают все ту же неослабевающую привязанность к своему жилищу. Может, поэтому оказалось легко свести образ «дома» к детской картинке, простому чертежу, лишенному всяких деталей?

«Дом», как идея сама по себе и как идея реализованная, изменялся и развивался с каждым новым витком современной истории. Идея и ее изменение – вот предмет нашего разговора.

Часть первая

Идеи дома. То, что было вначале

Глава 1

Семья и дом

Допускаю, что для многих слово «дом» сегодня, скорее всего, включает в себе идею ухода от мира. Однако мало найдется таких, кто решится поспорить, насколько желанным для нас становится дом благодаря использованию продуктов промышленного производства, будь то общедоступные потребительские товары или технологии гигиены, освещения и отопления. Это не совпадение, а зависимость реальности физического существования современного европейского дома от развития промышленной революции в Северо-Западной Европе.

Одним из ключевых пунктов в экономической истории является вопрос о том, почему такой удаленный район, как северо-запад Европы, находившийся на политической, географической и экономической периферии, стал двигателем индустриального мира? Почему все элементы, связанные вместе, превращаются в «современность» – концепцию национальных государств, технологические инновации, ставшие топливом для промышленной революции и возникновения капитализма? Почему именно здесь?

Казалось бы, города-государства в Италии времен Возрождения или величайшие дворы своего времени в космополитической Франции должны были оказаться более очевидными претендентами на такие преобразования. На мировой арене могла бы проявить себя монолитная в административно-хозяйственном смысле Китайская империя. Однако первыми стали Нидерланды, затем Англия – две страны, которые представляли в то время минимальную политическую важность. Однако именно они создают наиболее благоприятную почву для великих изменений.

Ответ на поставленный вопрос всегда оказывался достаточно обобщенным: основа современного мира появилась именно здесь, поскольку именно здесь произошла промышленная революция. Но почему же именно здесь? Далее обычно следует не столько ответ на вопрос, сколько перечисление факторов. Промышленная революция, услышим мы, произошла в данном регионе потому, что все факторы, повлиявшие на событие, сконцентрировались в силу обстоятельств не где-либо и не по отдельности, а все разом в Северо-Западной Европе. Промышленная революция, говорится далее, была обусловлена завершением эпохи феодализма (а в Англии, где феодализм отступил гораздо раньше, с ослаблением манориальной системы), что поспособствовало развитию фермерства в сельскохозяйственных регионах и стало началом становления профессионального среднего класса в городах. При этом неуклонно растущая численность населения привела к переизбытку рабочей силы в сельском хозяйстве. Под давлением обстоятельств работники переключивались в районы зарождающейся промышленности и в города. Развитие судоходства и новейшие исследования способствовали открытию новых торговых путей. Таким образом появляется доступ к изделиям и товарам, до того времени неизвестным или считавшимся роскошью. Государственный контроль и в то же время субсидирование колонизации уменьшают значимость цехов на дому – цехов, которые, как и картели, держали высокие цены и подавляли любое предпринимательство. Когда все это произошло, в Амстердаме возникли новые финансовые структуры, а кроме того, были установлены новые философские концепции свободной торговли.

Тем временем другая система – протестантизм (религия Северо-Западной Европы, пропагандирующая усердный труд и, кстати, идею о том, что мировой успех – знак благосклон-

ности Господа) – развивалась, не отставая от торговли и финансов. Система приобретала новые формы, что, по словам Макса Вебера, можно считать «духом капитализма». Добавьте в эту смесь достаточно грамотное население, систему патентов и вознаграждение инноваций, в целом хорошее снабжение природными ресурсами (в 1700 году 80 процентов мировой добычи угля приходилось на Британские острова). Объединяем все эти аспекты и подведем триумфальный итог – они породили промышленную революцию. Если вновь обратиться к роману «Робинзон Крузо», то можно заметить, что все нити, непохожие и разные, переплелись в 1719 году. Роман воспринимали по-разному: как пуританскую автобиографию духовного роста, или как рассказ о колониальной эксплуатации и торговле, или как притчу о современном индивидуализме и о трансформации капитализма. В то же время традиционные экономисты использовали Крузо для иллюстрации теорий конкуренции, распределения ресурсов и разделения труда. Но Крузо, или, точнее, Дефо, их опередил: словосочетание «богатство народов» он успел использовать в своем романе добрых три десятка раз. К тому моменту, когда Смит впервые дал классическое объяснение сути спроса и предложения – стоимость товаров падает, если они находятся в избытке, и растет, когда они в недостатке, – Крузо уже испытал это на себе. До крушения корабля Робинзон был, как повествует роман, торговцем в Бразилии, обеспечивая свою жизнь тем, что возил английские товары туда, где они были редки, а следовательно, дороги.

Одним из условий удачи промышленной революции стала другая революция – потребительская, которая началась на заре XVIII века. За последние тридцать лет историки, занимающиеся вопросами потребления, или в более общем смысле – материальной культуры, модифицировали фразу «спрос и предложение». Они утверждают, что исторически было бы верно поменять эти два понятия местами. Известно, что предложение не влечет за собой спрос, но, наоборот, спрос рождает предложение. Желание получить определенные товары или вещи – вот что создало необходимые условия для начала промышленной революции, благодаря чему зародилась современность. А без спроса на определенные товары, без возможности их получить не возникло бы и других факторов. Но в этом случае революция потеряла бы смысл.

Однако вопрос, почему промышленный переворот произошел именно в Северо-Западной Европе, так и остается открытым. Об истоках потребительской революции – тоже. Положение, при котором доходы некоторых людей превышали их реальные жизненные потребности, было распространено во многих странах того времени, но никакая потребительская революция почему-то не произошла, скажем, в Китае. Простое объяснение факта: социальное подражание, то есть желание быть не только наравне со своими обеспеченными соседями, но и с теми, кто находится на ступень выше на социальной лестнице, – вот что двигало желанием обладать товарами потребления.

В Англии и в Нидерландах, которые первыми пережили потребительскую революцию, классовые различия оказались не столь велики, а иногда вовсе стирались, как, например, в случае с сословием аристократов (в Англии внук обнищавшего аристократа становился рабочим; а во Франции или Индии он продолжал считаться пусть обедневшим, но аристократом). Социальный разрыв, должно быть, мог выглядеть преодолимым для тех, кто находился внизу социальной лестницы. В особенности этому способствовало появление новых рекламных и печатных технологий. Газеты, журналы и листовки распространяли информацию о доступных товарах так быстро, как никогда прежде.

Но все же соревновательный дух и коммерческие взаимоотношения, ориентированные на продажу, с географической точки зрения не фокусировались на какой-то определенной территории вплоть до времен начавшейся потребительской революции. Что же могло спровоцировать спрос, или, можно сказать, такое стремление обладать товарами?

Отчасти потребительскую революцию можно считать конечным продуктом четырех других событий. Это: конец 80-летней войны и голландское восстание против испанцев

в 1648 году; американская и французская революции 1776 и 1789–1792 годов; продолжавшаяся более века промышленная революция. События породили более гибкие социальные структуры. Зарождающийся средний класс (так его можно называть именно с этого времени) постепенно набирает все большую силу, потеснив дворянство и аристократию.

Средний класс богател, особенно в Нидерландах, главным образом на том, что начиная со Средних веков заправлял на денежном рынке, а не на рынке земельной собственности. Именно в этой сфере экономики создавались финансовые инструменты, включая коммерческие кредиты и государственные займы – «сущность капиталистической экономики» в начале ее расцвета. Благодаря им начали создаваться первые современные города.

Нидерландская революция и протестантская Реформация внесли свой вклад в изменение шкалы землепользования, чего прежде никогда не случалось. В Утрехте до Реформации более 30 процентов всей собственности принадлежало церкви. Затем эта собственность была превращена в городскую или передана в частное, светское владение. Урбанизация – одновременно и значимый фактор, и побочное явление революции – означала, что общественные убеждения стали основываться не на родословных и репутациях, а на презентации своего собственного «я», что самым тесным образом переплетается с темой владения личным имуществом.

Перечисленные факторы создали такую среду, в которой потребительская революция была не столько возможной, сколько необходимой.

Но вполне возможно, что другой аспект, тесно связанный с потребительской революцией и самим домом, оказался гораздо важнее. Историк Мэри С. Хартман сделала весьма правдоподобное предположение о том, что ключевым элементом, который прежде выпадал из поля зрения исследователей или оставался без должного внимания, явилась уникальная система бракосочетания, изобретенная не где-то, а именно в Северо-Западной Европе. В результате образовалась нуклеарная семья (состоящая из супругов и их детей). Она появилась в этих местах, по существу, к 1500-м годам или несколько раньше.

В большинстве случаев мужчины и женщины вступали в брак довольно поздно (мужчины – ближе к тридцати, а женщины ближе к двадцати пяти годам). Возраст пары стал более равным по сравнению с теми временами, когда только появлялись общества, в которых были приняты брачные отношения. Как мужчинам, так и женщинам приходилось еще до брака работать в течение некоторого периода, обычно для того, чтобы сэкономить средства для создания собственного хозяйства после вступления в брак. (Совсем юных девушек в Северо-Западной Европе выдавали за мужчин, которые намного превосходили их по возрасту, только в среде правящей элиты в династических целях и для наследственной передачи имущества.)

Для многих людей в разные времена основной целью в жизни (или способом выживания) оказался брак. Кроме знатности и богатства, брак обеспечивал надежную передачу наследства или даже его приумножение при переходе от одного поколения к другому. Для более низких социальных классов брак служил гарантией преемственности ремесленных навыков, к тому же формировал мощную рабочую основу для поддержки семьи.

Возможно, покажется полной неожиданностью, что такое вечное слово, как «семья», во все времена понималось по-разному.

В римском мире слово *famulus* означало раба, *familia* указывало не на родственные связи, а на отношения подчинения и владения. К Средним векам в Северной Европе понятие «семья» означало всех, кто жил в одном доме, при одном хозяйстве, включая и крепостных, закрепленных за хозяйством. Но глава хозяйства не входил в это число. В те времена «семья» оставалась понятием, обозначающим подчиненность, а не родство.

В Италии эпохи Возрождения писатель и архитектор Леон Баттиста Алберти выражал надежду, что его дети «всегда будут счастливы в нашей маленькой семье». Но для того, чтобы выразить мысль о любви и привязанности, которые он имел в виду, пришлось использовать уменьшительное *famigliola*, поскольку *famiglia* по-прежнему носило значение домохозяйства в

целом со всеми его представителями, связанными по крови или нет, а потому не могло нести эмоциональной нагрузки.

На Британских островах слово «семья» служило общим определением для всех, кто жил под одной крышей. Кровные родственники определялись словом «родственники». В «Ромео и Джульетте» священник Лоренцо советует Ромео скрываться в изгнании до той поры, «пока мы сможем выбрать момент / Для... примирения ваших родственников (friends)». Это было то самое значение, в котором Сэмюэл Пипс использовал слово «семья». Но стоит заметить, что к XVII веку значение слова изменилось, включив в состав понятия главу хозяйства. Пипс подытоживает: «Моя семья состоит из меня самого и жены, Уильяма, моего служащего, Джейн, старшей горничной моей жены... Сюзен, нашей поварихи... и мальчика для обслуги». Таким образом, под словом «семья» подразумевалась не какая-то строго определенная группа лиц, а подверженный расширению или сужению круг, который мог изменяться в связи с обстоятельствами и временем. В XVIII веке автор дневника упоминает слуг в качестве «моей семьи», в то время как они состояли у него на службе. Стоило им оставить службу, как они переходили в категорию «мои бывшие слуги». К XIX веку носители английского языка использовали слово «семья» в любом контексте только по отношению к тем, кого связывало кровное родство, но старое значение формально еще существовало.

К концу 1851 года по переписи на территории Британии в качестве «членов семьи» упоминались «жена, дети, слуги, родственники и те люди, которые постоянно или время от времени бывают в доме». Глава хозяйства, обратите внимание, все еще официально не считается частью семьи.

Многие виды брака, разумеется, предоставляют такие возможности, и огромное количество моделей совместной жизни на всем земном шаре также удовлетворяют этим жизненным потребностям. В Южной Европе взрослые девушки и молодые люди двадцати лет часто объединялись в пары, при этом именно женщина переезжала в дом семьи своего мужа или *ostal* (поразительно, но это слово обозначает одновременно и «дом», и «семью»). Родительский дом наследовал только один из сыновей, другие дети могли получить либо деньги, либо движимое имущество. В Восточной Европе крепостные жили в сложных семейных хозяйствах. В это же время на юго-востоке – в Хорватии и Сербии – существовала *zadruga*, или община, в которой земля принадлежала родственникам по отцовской линии в расширенной семье. Предполагалось, что сыновья должны приводить жен в свой дом, где образовывались большие семейные сообщества.

В других областях склонялись к формированию хозяйства, члены которого могли быть родственниками, но не образовывали брачных пар (например, где два брата или кузена делили хозяйство между собой). Существовали расширенные семейные группы (например, пара супругов и кто-то из родственников, но не вторая пара). Мог быть вариант многосемейной группы (две или более пары, представляющие либо разные поколения – пара, их дети и супруги детей, либо одно поколение – братья и сестры, их супруги и дети). Также существуют хозяйства, скрепленные фамильным родством, – родовые семьи (сын и невестка, которые после свадьбы живут в одном доме с родителями); *frèreche*, или братчина (семьи двух и более женатых братьев). Если обобщить – все эти семейные формы относятся к так называемым расширенным семьям и имели место в различных регионах Европы.

Модель нуклеарной семьи, которая характерна для стран, относящихся к Северо-Западной Европе, не была на этой территории неким исключением. Также подобная модель была обычна для некоторых частей Испании, Португалии и Италии. Разница состоит в том, что в странах Северо-Западной Европы нуклеарная семья редко претерпевала вторжение – только незначительное количество домохозяйств имело в составе иных родственников, живущих при том же доме. Это число составляло до 3 процентов на Род-Айленде, что приблизительно справедливо и для более густонаселенных голландских городов XVII века. Через два с лишним

века около 10 процентов английских домохозяйств имели в составе не принадлежащего к семье ненуклеарного родственника, проживающего постоянно в том же доме. В европейских странах с нуклеарным типом семьи такое положение вещей считалось практически невозможным. В то же время более половины всех домохозяйств в одной из областей Италии имели ненуклеарных родственников, проживающих в доме.

Вот вкратце общая картина разнообразия моделей семейной жизни. Слово «семья» исторически обладало множеством различных значений. То же можно сказать о понятии «брак». Хотя изменения бывали очень значительными, но порою они оказывались столь же незаметными, как пресловутая плеватьница. Высокопарный священник мистер Коллинз из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813) составляет список причин, по которым он хотел бы жениться. «Прежде всего, – заявляет Коллинз, – это хороший и простой способ для любого священника (вот как в моем случае) дать добрый пример супружества... Во-вторых, я убежден, что это сделает меня намного счастливее. А в-третьих, что я, возможно, должен был упомянуть с самого начала... это настоятельный совет и рекомендация очень благородной леди, которую я имею честь называть своей покровительницей».

Современный читатель с интересом следит за развитием парадоксальной ситуации. Мы, вместе с героиней романа Лиззи, ожидаем, что мистер Коллинз, «возможно», должен был бы «упоминуть ранее» если не любовь, то хотя бы восхищение и свое чувство к женщине, которую он хочет взять в жены. Однако его положение в обществе и относительное богатство заполняют все мысли священника; затем следует удовольствие, которое ему принесет брак; в конце, совсем комично, его надежды на социальное и карьерное продвижение, если он угодит «покровительнице». Кроме того, читатель начала XIX века находил удовольствие, узнавая более глубокий подтекст, утерянный для нашего современника.

Джейн Остин высмеивает помпезность своего литературного персонажа. Хотя она сама была дочерью священнослужителя, но все же подшучивает над «Книгой общих молитв», которая предлагает «расширенный» список причин для женитьбы, впрочем весьма напоминающий перечень мистера Коллинза: «Во-первых, брак существует для продолжения рода... во-вторых, он служит лекарством от греха и оберегает от прелюбодеяния... В-третьих, он существует для организации сообщества, для взаимопомощи и удобства, предоставляемого человеком человеку и в горе, и в радости». Для Остин, которая написала роман в начале XIX века, тот факт, что церковь поставила партнерство (или брак по договору) на последнее место, отдав первенство детям и спасению от прелюбодеяния, стал поводом для насмешки. И она, и окружающее общество переместили бы это самое «в-третьих» на первое место: действительно, все романы писательницы, если свести их к единой схеме, являются исследованием способов распознать тех, кто мог бы составить друг другу неплохую партию в жизни. Ее пародия демонстрирует, какие быстрые и глубокие изменения претерпели идеи о супружестве в Северо-Западной Европе за два предыдущих века.

Для большинства населения на протяжении значительных исторических периодов времени выживание, а для более зажиточных – недвижимое состояние составляли цель брака. Заключение брака многим открывало путь к передаче трудовых умений и социальных навыков. Это во многом способствовало созданию основы рабочих ресурсов семьи, что должно было служить укреплению семейного союза. Для тех, кто принадлежал к аристократии и богатым сословиям, брак выступал в качестве социальной структуры, служащей сохранению, возможному приумножению собственности, ее передаче от одного поколения к другому.

К тому времени уже вышли 95 тезисов Мартина Лютера (1517), феодализм в Северо-Западной Европе прошел свою заключительную стадию. Новые формы власти и новые взаимоотношения в обществе выходили на историческую сцену. Изображения Святого семейства получили широкое распространение в предыдущем веке – это может свидетельствовать о

нарастающей важности семьи для общества, во всяком случае для заказчиков подобных картин.

Тем временем католическая церковь рассматривает брак как правильное, но второсортное решение для тех, кто не смог достичь идеала безбрачия («Лучше жениться, чем распалиться» – как сказано в Новом Завете). Протестантизм, напротив, делает идею брачного союза основой нравственной идеологии, ибо в Книге Бытие сказано, что «нехорошо человеку быть одному». Со временем союз мужчины и женщины, включая их детей, начали рассматривать как основную ячейку общества. И этот новый взгляд, основанный на новой религии, нашел распространение именно на тех территориях, где преобладала форма позднего брака, при которой два приблизительно равных партнера выбирали друг друга скорее как достигнувшие соглашения взрослые люди, чем как молодые члены двух больших кланов, подчинившиеся их решению.

Современный историк вопроса развития сексуальных отношений предположил, что брак, предшествующий современному, зарождался как «имущественное соглашение, в середине развития касался по большей части задачи поднять на ноги детей и только заканчивался вопросом любви». Таким образом, по мысли автора, брак в XX веке «начинается с вопроса любви, его сердцевиной является идея создания условий для того, чтобы поднять детей... и только в конце зачастую идут имущественные вопросы».

В обществах, где были приняты ранние браки, у молодоженов не было необходимости и возможности самим планировать, как им в дальнейшем устроиться в жизни. Они переезжали туда, куда им указывали родители, следуя давно существующим обычаям и традициям. Напротив, в странах с преобладанием поздних браков женщины наряду с мужчинами еще задолго до создания союза работали где-то вне дома. До 40 процентов населения было занято в сфере обслуживания; количество женщин, работавших в качестве прислуги какой-то период своей жизни (в рабочем классе обычно начиная с 13–14 лет), порой составляло до 90 процентов и никогда не опускалось ниже 50. Примерно в том же возрасте мальчиков отдавали в подмастерья. Сначала они жили в семье мастера, но позже становились самостоятельными и должны были сами себя обеспечивать. Эти юноши заводили знакомства, открывали для себя что-то новое: у них появлялась возможность увидеть, как живут люди разных сословий, пользоваться различными технологиями и приспособлениями для дома. Они путешествовали по стране, заключали контракты с работодателями, перезаключали их, если нужно, или разрывали, если решали, что так будет лучше. Так юноши учились находить деловой и эмоциональный подход к незнакомым людям. Короче говоря, они несли полную ответственность за свое финансовое и жизненное благополучие.

К свадьбе молодая пара обзаводилась собственным хозяйством, что влекло за собой необходимость покупки новых вещей. Поскольку оба несколько лет трудились, то могли позволить себе приобрести все, что видели у других, или хотя бы часть желаемого. Женщины вступали в брак в качестве одной из зарабатывающих сторон и рассчитывали (накануне промышленной революции) вносить достойную лепту в семейный бюджет. Даже после того, как начала широко распространяться индустриализация, эта жизненная позиция все равно оставалась неизменной для большинства женщин из рабочего класса, который всегда преобладал в обществе.

Зачастую женщины выступали в роли деловых партнеров своих мужей, при этом мужчины брали на себя весь тяжелый физический труд, а женщины занимались коммерческими сделками на фермах, в магазинах или в торговле – задачи, которые в обществе с ранним типом брака брали на себя родственники мужского пола, живущие в родительском доме.

Бывало, мужчины путешествовали по стране, выполняя сезонную работу, в то время как их жены занимались семьей, иногда небольшим участком земли, разводили птицу или вели молочное хозяйство. Либо они выполняли большую работу по хозяйству – обстирывали семью, шили, чесали и пряли шерсть. Другие, особенно в сельской местности, занимались меновой

торговлей, меняя шерсть, молочную продукцию, яйца и мед на сахар, скобяной товар и прочие вещи, которые невозможно было произвести самостоятельно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.